

ИРВИН ЯЛОМ

КАК Я СТАЛ
СОБОЙ

воспоминания



Ирвин Ялом. Легендарные книги

Ирвин Дэвид Ялом

Как я стал собой. Воспоминания

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.111-94(73)
ББК 84(7Сое)-44

Ялом И.

Как я стал собой. Воспоминания / И. Ялом — «Эксмо»,
2017 — (Ирвин Ялом. Легендарные книги)

ISBN 978-5-04-090837-0

Путь к себе, как известно, каждый ищет по-разному. Ирвин Ялом выбирает для этого мемуары. Перешагнув рубеж своего 85-летия, он решает записать все, что было радостного и печального в его жизни. Цепочка воспоминаний, описанная чистым и ясным слогом, заставит вас проникнуться историей одного из самых знаменитых психологов нашего времени и расскажет о том, что сделало его таким, каков он есть. Ирвин Ялом — известный во всем мире психотерапевт, автор научно-популярной и художественной литературы. Его романы «Лжец на кушетке», «Когда Ницше плакал», «Мамочка и смысл жизни» и другие завоевали любовь читателей по всему свету, а суммарный тираж превысил 50 миллионов экземпляров. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.111-94(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-090837-0

© Ялом И., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ	7
Глава первая	9
Глава вторая	11
Глава третья	15
Глава четвертая	19
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Ирвин Ялом

Как я стал собой. Воспоминания

Irvin D. Yalom

BECOMING MYSELF

Copyright © Irvin D. Yalom, Dr, 2017 First published by Basic Books

Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

© Мельник Э. И., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Путь к себе, как известно, каждый ищет по-разному. ИРВИН ЯЛОМ выбирает для этого мемуары. Перешагнув рубеж своего 85-летия, он решает записать все, что было радостного и печального в его жизни. Цепочка воспоминаний, описанная чистым и ясным слогом, заставит вас проникнуться историей одного из самых знаменитых психологов нашего времени и расскажет о том, что сделало его таким, каков он есть.

ОБ АВТОРЕ

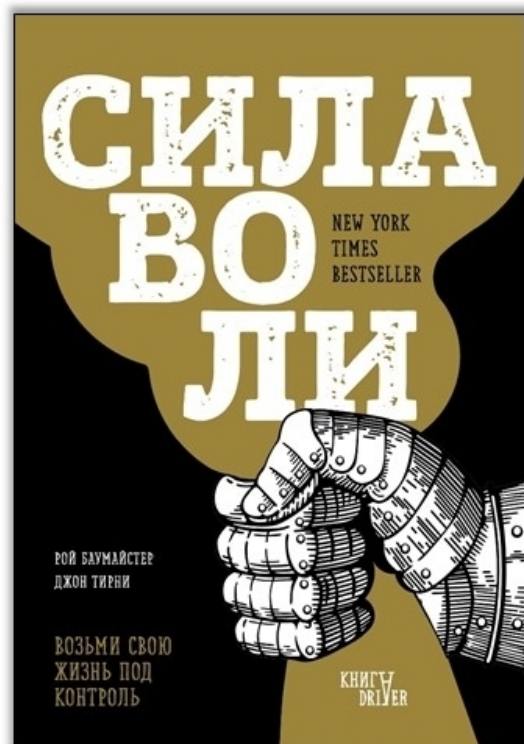
Ирвин Ялом – известный во всем мире психотерапевт, автор научно-популярной и художественной литературы. Его романы «Лжец на кушетке», «Когда Ницше плакал», «Мамочка и смысл жизни» и другие завоевали любовь читателей по всему свету, а суммарный тираж превысил 50 миллионов экземпляров.

«Слово «воспоминания» многим кажется скучноватым. Но истории психотерапевта Ирвина Ялома, которые знает весь мир, никогда не были скучными. Не становятся и на этот раз, когда он – против обыкновения – рассказывает о себе самом. Почему? Возможно, потому, что он себя не приукрашивает. Но и не очерняет. Он относится к себе так же, как к своим пациентам: с пониманием и уважением, основанным на честности, а не на иллюзиях. Перед нами увлекательное повествование и вдохновляющий пример того, как стать собой – а это цель, к которой стремится каждый из нас».

Ольга Сульчинская,
шеф-редактор Psychologies

*В память о моих родителях,
Рут и Бенджамине Яломах, и сестре Джин-Роуз*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ



Прочь из замкнутого круга! Как оставить проблемы в прошлом и впустить в свою жизнь счастье

Почему мы совершаем одни и те же ошибки раз за разом? Где искать причины наших неудач? В своей книге ведущие американские психотерапевты Джеффри Янг и Жанет Клоско поделятся уникальными фактами о паттернах поведения и расскажут, как разорвать порочный круг и изменить жизнь к лучшему.

Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль

Считаешь, что натренировать силу воли невозможно? Думаешь, что самодисциплина не относится к числу твоих талантов? Дж. Тирни и Р. Баумастер предлагают простую систему самовоспитания, которая не потребует запредельных усилий. Авторы делятся целым набором способов «перехитрить» себя и постепенно, день за днем, сделать силу воли и самоконтроль естественной частью повседневной жизни. Их подход – тот редкий случай, когда проблему предлагается решать не в лоб, а используя обходные пути.

Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи

Если суета повседневной жизни угнетает, если вы не знаете, как освободиться от груза проблем, если тяжело на душе, пора все поменять! Это новый роман от Джона Стрелеки, автора бестселлера «Кафе на краю земли», о том, как найти свой путь и следовать за своими желаниями. Чудесная атмосфера добра и искренности, увлекательные истории о нашей роли в этом мире и ответы на самые главные вопросы о цели жизни навсегда изменят ваше отношение к реальности и откроют путь к переменам.

Палач любви и другие психотерапевтические истории

«Палач любви» – одно из ключевых произведений известного американского психотерапевта. Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты Ирвина Ялома, актуальны абсолютно для всех: боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь отвергнутой любви, страх свободы. Читателя ждет колоссальный накал страстей, откровенные признания и лихо закрученный сюжет, который держит в напряжении до последней страницы.

Глава первая

Рождение эмпатии

Я просыпаюсь в три часа ночи, плача в подушку. Двигаясь тихонько, чтобы не побеспокоить Мэрилин, я выскальзываю из постели, иду в ванную, вытираю глаза и следую указаниям, которые даю пациентам вот уже пятьдесят лет: закрой глаза, воспроизведи мысленно свой сон и запиши то, что видел.

Мне лет десять, может быть, одиннадцать. Я качу на велосипеде вниз по холму недалеко от дома моих родителей. Вижу девочку по имени Элис, сидящую на открытой веранде своего дома. Она чуть старше меня, симпатичная, хотя ее лицо покрыто красными пятнышками. Я окликаю ее, проезжая мимо:

– Привет, Краснуха!

Внезапно мужчина, невероятно огромный и сильный на вид, вырастает перед моим велосипедом и останавливает его, ухватив за руль. Я откуда-то знаю, что это отец Элис.

Он громко говорит мне:

– Эй, ты, как там тебя! Задумайся на минуту – если ты вообще способен думать – и ответь вот на какой вопрос. Задумайся о том, что ты только что крикнул моей дочери, и скажи мне одну вещь: что Элис чувствует, когда ты это говоришь?

От испуга я не могу вымолвить ни слова.

– Ну, давай, отвечай! Ты парнишка Блумингдейла¹, и я готов побиться об заклад, что ты – умный еврейчик. Так давай же, догадайся, что чувствует Элис, когда ты такое говоришь.

Я трепещу. Язык у меня отнялся от ужаса.

– Ладно-ладно, – говорит он. – Успокойся. Сделаем проще. Просто скажи мне вот что: как из-за твоих слов Элис относится к себе – хорошо или плохо?

Меня хватает только на то, чтобы промямлить:

– Не знаю...

– Не получается подумать честно, да? Ничего, я тебе помогу. Предположим, я посмотрел на тебя, выбрал в тебе одну плохую черту и стал отпускать замечания о ней всякий раз при встрече с тобой... – Он пристально вглядывается в меня. – У тебя в носу сопли, верно? Как насчет прозвища «сопляк»? Левое ухо у тебя больше правого. Предположим, я говорю «толстоухий» всякий раз, как вижу тебя. А как насчет «еврейчика»? Да, вот именно! Тебе бы это понравилось?

Во сне я понимаю, что уже не первый раз проезжаю мимо этого дома, что я делал то же самое день за днем – проезжал мимо и окликал Элис одними и теми же словами, пытаюсь завязать разговор, пытаюсь подружиться с ней. И всякий раз, выкрикивая «Эй, Краснуха!», я обижал, оскорблял ее. Я в ужасе – от вреда, который причинял раз за разом, и от того факта, что был так слеп и не видел этого.

Когда ее отец наконец отпускает меня, Элис спускается со ступенек крыльца и тихо говорит:

– Хочешь зайти к нам поиграть?

Она бросает взгляд на отца. Тот кивает.

¹ Продуктовый магазин моего отца назывался «Блумингдейл-Маркет», и многие покупатели думали, что Блумингдейл – это наша фамилия. – Прим. авт.

– Я чувствую себя так ужасно, – отвечаю я. – Мне стыдно, так стыдно! Я не могу, не могу, не могу...

Начиная с ранних подростковых лет я всегда читал на ночь в постели, пока не засыпал. Не изменил я этой привычке и сейчас, и в последние две недели меня занимала книга Стивена Пинкера, которая называется «Лучшее в нас». Сегодня перед сном я прочел главу о развитии эмпатии в эпоху Просвещения и о том, как расцвет романа, в особенности британского эпистолярного романа, образцами которого являются «Кларисса» и «Памела»², сыграл свою роль в укрощении жестокости и насилия, помогая нам почувствовать мир с точки зрения другого человека. Я погасил свет около полуночи, а пару часов спустя проснулся, разбуженный кошмаром об Элис.

Успокоившись, я возвращаюсь в постель, но еще долго лежу без сна. Я размышляю: как примечательно, что этот давнишний гнойник, этот запечатанный «конверт» вины, которому стукнуло вот уже семьдесят три года, вдруг прорвался именно сейчас. Теперь мне вспоминается, что я, двенадцатилетний, действительно проезжал на велосипеде мимо дома Элис, выкрикивая эти слова – «Эй, Краснуха!» – в какой-то грубой, болезненно неэмпатической попытке привлечь ее внимание. Ее отец никогда не делал мне выговора; но теперь, в возрасте восьмидесяти пяти лет, лежа в постели и приходя в себя после этого кошмара, я могу вообразить, как, должно быть, она себя чувствовала и какой вред я мог ей нанести. Прости меня, Элис!

² Романы Сэмюэла Ричардсона. – Прим. перев.

Глава вторая

В поисках наставника

Майкл, шестидесятипятилетний физик, – мой последний пациент в этот день. Двадцать лет назад, на протяжении примерно двух лет я проводил с ним терапию³. С тех пор я не получал от него известий, пока пару дней назад он не написал мне электронное письмо, где были такие слова: «Мне необходимо увидеться с вами – статья (см. ссылку) много чего разожгла, как хорошего, так и плохого». Ссылка из письма вела к статье в «Нью-Йорк таймс», рассказывавшей, что Майкл недавно получил крупную международную научную премию.

Когда он усаживается в кресло в моем кабинете, я заговариваю первым:

– Майкл, я получил вашу записку. Вы пишете, что нуждаетесь в помощи. Мне жаль, что вы расстроены, но я также хочу сказать, что мне приятно вас видеть, и я с радостью узнал о вашей награде. Я не раз вспоминал вас в минувшие годы и гадал, как у вас дела.

– Спасибо за теплые слова...

Майкл оглядывает кабинет. Он жилистый, настороженный, почти лысый, около шести футов ростом; его блестящие карие глаза лучатся умом и уверенностью.

– Вы сделали перестановку в кабинете? Эти стулья раньше стояли вон там – верно?

– Ага, я устраиваю ремонт каждую четверть века.

Он хмыкает.

– Так, значит, вы видели ту статью?

Я киваю.

– Наверное, вы сами можете догадаться, что случилось со мной дальше: бурный прилив гордости – но слишком недолгий, – а потом, волна за волной, тревожные сомнения в себе. Все та же история – где-то в глубине души у меня пустота.

– Давайте сразу этим и займемся...

Остаток сеанса мы посвящаем повторению пройденного: его необразованные родители, ирландцы-иммигранты, детство, скитания по нью-йоркским съемным квартирам, скверное начальное образование, отсутствие сколько-нибудь значимого наставника... Майкл странно говорил, как завидует людям, которых брали под крыло и воспитывали старшие, пока он должен был бесконечно трудиться и получать высшие оценки – чтобы на него хотя бы обратили внимание. Ему пришлось создавать самого себя с нуля.

– Да, – киваю я. – Создавая самого себя, обретаешь источник великой гордости. Но это дает и ощущение, что у тебя нет никакого фундамента. Я знал многих одаренных детей иммигрантов, которым кажется, что они – лилии, растущие в болоте. Прекрасные цветы, но без глубоких корней.

Майкл вспоминает, как я говорил то же самое много лет назад, и замечает, что рад этому напоминанию. Мы договариваемся провести еще несколько сеансов, и он признается, что уже чувствует себя лучше.

Мне всегда хорошо работалось с Майклом. У нас возник контакт с самой первой встречи, и он временами говорил мне: ему кажется, я – единственный человек, который по-настоящему его понимает. В первый год нашей терапии он много рассказывал о своей спутанной идентичности. Действительно ли он был тем самым «отличником», который давал фору всем остальным? Или бездельником, который проводил свое свободное время за бильярдом или игрой в кости?

³ Здесь и далее везде, где автор употребляет слово «терапия», имеется в виду психотерапия. – Прим. перев.

Как-то раз, когда Майкл снова жаловался на спутанную идентичность, я рассказал ему свою историю – об окончании средней школы имени Рузвельта в Вашингтоне. С одной стороны, меня официально уведомили, что я получу во время вручения аттестатов почетную медаль школы Рузвельта. Однако в выпускном классе я открыл небольшой букмекерский бизнес, принимая ставки на бейсбол: я давал десять к одному, что любые три произвольно выбранных игрока в любой отдельный день не сделают все вместе шесть хитов. Шансы были в мою пользу. Я на диво хорошо зарабатывал, и у меня всегда были деньги, чтобы купить для Мэрилин Кёник, моей постоянной девушки, букетик гардений на корсаж. Однако за пару дней до выпускного я потерял свой блокнот с записями ставок. Куда он запропастился?! Я лихорадочно искал его повсюду вплоть до самого момента вручения аттестатов. Даже услышав свое имя и начав путь через сцену, я дрожал, гадая, что произойдет – меня наградят за блестящее окончание школы или исключат за азартные игры?

Когда я поведал эту историю Майклу, он расхохотался во все горло, а потом пробормотал: – Вот такой мозгоправ мне определенно по душе!

Набросав заметки о нашем сеансе, я переодеваюсь в обычную одежду и теннисные туфли и вывожу из гаража велосипед. В мои восемьдесят четыре года теннис и бег трусцой остались уже далеко позади, но почти каждый день я катаюсь по велосипедной дорожке неподалеку от своего дома.

Я начинаю крутить педали и еду по парку, полному детских колясок, летающих фрисби и малышей, карабкающихся на диковинные ультрасовременные сооружения. Потом проезжаю через простенький деревянный мостик над Матадеро-Крик и поднимаюсь на небольшой холм. Его склон с каждым годом, как мне кажется, становится все круче. На вершине я расслабляюсь и начинаю долгое скольжение вниз по склону. Обожаю мчаться вперед, когда порывы теплого воздуха струями бьют в лицо. Только в эти моменты я начинаю понимать своих друзей-буддистов, которые говорят, что надо опустошать разум и нежиться в ощущении *просто бытия*.

Но этот покой всегда бывает недолгим, и сегодня я ощущаю, как в крыльях моего разума шелестит греза, готовящаяся к выходу на сцену. Это греза, которую я воображал много раз, – возможно, сотни раз за свою долгую жизнь. Несколько недель она не посещала меня, но жалоба Майкла на отсутствие наставников пробуждает ее к жизни.

Мужчина с портфелем, одетый в полотняный костюм в полоску, соломенную шляпу, белую рубашку и галстук, входит в маленькую, дешевую продуктовую лавчонку моего отца. Меня там нет: я вижу всю сцену так, словно парю под потолком. Я не узнаю гостя в лицо, но знаю, что это человек влиятельный. Скорее всего, это директор моей начальной школы. Дело происходит в жарком, душном июньском Вашингтоне, и он достает носовой платок, чтобы промокнуть лоб, прежде чем обратиться к моему отцу:

– Мне нужно обсудить с вами важные вещи, касающиеся вашего сына, Ирвина.

Отец ошарашен и встревожен; никогда прежде с ним не случалось ничего подобного. Мои отец и мать, так и не ассимилировавшиеся до конца в американской культуре, непринужденно чувствовали себя только с такими же, как они, – другими евреями, эмигрировавшими вместе с ними из России.

Хотя в магазине есть посетители, требующие внимания, мой отец понимает, что перед ним человек, которого негодже заставлять ждать. Он звонит моей матери – наша небольшая квартирка располагается прямо над магазином – и, отойдя подальше от гостя, чтобы тот не слышал, на идише велит ей бегом спуститься на первый этаж. Пару минут спустя мать является и принимается деятельно обслуживать покупателей, в то время как мой отец ведет незнакомца в крохотную подсобку магазина. Они усаживаются на ящики с пустыми

бутылками и беседуют. К счастью, ни крысы, ни тараканы не заявляют о своем присутствии.

Мой отец явно не в своей тарелке. Он предпочел бы, чтобы эту беседу вела мать; но было бы недостойно публично признать, что это она, а не он, всем здесь заправляет и принимает важные семейные решения.

Человек в костюме рассказывает отцу поразительные вещи.

– Учителя в моей школе говорят, что ваш сын Ирвин – экстраординарный ученик и обладает потенциалом, позволяющим внести выдающийся вклад в наше общество. Но это случится в том случае – и только в том случае, – если ему будет обеспечено хорошее образование.

Мой отец, кажется, застывает на месте, не сводя красивых, пронизательных глаз с незнакомца, который тем временем продолжает:

– Знаете, школьная система Вашингтона неплоха, и ее вполне довольно для среднестатистического ученика. Но ученику столь талантливого, как ваш сын, в ней не место. – Он раскрывает портфель, протягивает отцу список нескольких частных школ и объявляет: – Рекомендую вам до конца обучения отправить его в одну из этих школ.

Потом он достает из бумажника визитную карточку и протягивает ее отцу со словами:

– Если вы свяжетесь со мной, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему получить стипендию. – И, видя недоумение отца, поясняет: – Я попытаюсь заручиться помощью для оплаты его обучения – эти школы не бесплатны, в отличие от общественных школ. Прошу вас, ради сына! Пусть это станет вашим высшим приоритетом.

Обрыв пленки! Греза всегда заканчивается на этом моменте. Мое воображение отступает, не желая завершать эту сцену. Я никогда не вижу ни реакции отца, ни его последующего разговора с матерью. Эта греза выражает мое страстное желание быть спасенным. В детстве мне не нравились моя жизнь, мой район, моя школа, мои товарищи. Я мечтал, чтобы меня спасли; и в этой грезе меня – впервые в жизни – признает особенным важный посланец внешнего мира, мира за пределами культурного гетто, в котором я рос.

Теперь я оглядываюсь назад и вижу эту фантазию о спасении и возвышении во всем своем творчестве. В моем романе «Проблема Спинозы», в третьей главе, Спиноза, шагая к дому своего учителя, Франциска ван дер Эндена, погружается в грезу наяву. Эта греза заново пересказывает историю их первого знакомства, случившегося парой месяцев ранее. Ван дер Энден, бывший преподаватель древних языков в колледже иезуитов, ныне руководит частной академией. Он забрел в лавку Спинозы, чтобы купить вина и изюма, и был ошеломлен глубиной и широтой ума хозяина лавки. Он настоятельно рекомендовал Спинозе вступить в его частную академию, чтобы познакомиться с миром нееврейской философии и литературы.

Хотя этот роман является вымыслом, я старался, насколько возможно, придерживаться исторической точности. Но только не в этом эпизоде: дело в том, что Барух Спиноза никогда не работал в семейной лавке. Никакой семейной лавки и *не было*: его семья вела импортно-экспортный бизнес, но не занималась розничной торговлей. Зато в семейной продуктовой лавке работал я сам.

Эта фантазия о признании и спасении живет во мне во множестве форм. Не так давно я был на спектакле по пьесе «Венера в мехах», поставленной Дэвидом Айвзом. Занавес расходится, показывая сцену за кулисами: мы видим усталого под конец долгого дня режиссера, который прослушивал актрис на главную роль. Обессиленный и абсолютно неудовлетворенный, он уже готовится уйти, когда на сцену врывается еще одна актриса, чрезвычайно взволнованная и одновременно нахальная. Она опоздала на час. Режиссер говорит ей, что на сегодня пробы закончены, но она умоляет и упрашивает прослушать ее.

Видя, что актриса явно лишена утонченности, плохо образованна и совершенно не подходит для этой роли, он отказывает ей. Но просительница из нее вышла превосходная: она находчива и настойчива – и наконец, чтобы избавиться от нее, режиссер уступает и соглашается на коротенькое прослушивание, во время которого они начинают вместе читать сценарий.

Читая, актриса преображается, ее произношение меняется, речь становится зрелой; она говорит, будто ангел. Режиссер ошеломлен, поражен. Она – как раз то, что он искал. Она даже превзошла его мечты. Возможно ли, чтобы это была та самая растрепанная, вульгарная женщина, которую он впервые увидел всего полчаса назад? Они продолжают читать сценарий. И не останавливаются до тех пор, пока блестяще не сыграют до конца всю пьесу.

В этом спектакле мне понравилось все, но эти первые несколько минут, когда режиссер оценивает истинные качества актрисы, вызвали во мне наиболее глубокий отклик: моя греза о признании была поставлена на сцене, и когда я первым из всего зрительного зала встал, чтобы аплодировать актерам, по лицу моему текли слезы.

Глава третья

«Я хочу, чтобы она уехала»

У меня есть пациентка по имени Роуз, которая в последнее время говорила в основном о своих отношениях с дочерью-подростком, ее единственным ребенком. Роуз была близка к тому, чтобы опустить руки, поскольку энтузиазм у дочери вызывали только алкоголь, секс и общество других непутевых подростков.

На терапии Роуз изучала собственные недостатки в роли матери и жены, свои многочисленные измены, уход из семьи ради другого мужчины и возвращение через несколько лет, после того как роман сошел на нет. Роуз была заядлой курильщицей, у нее развилась разрушительная прогрессирующая эмфизема; но, несмотря на это, в последние несколько лет она старательно пыталась заглаживать свои проступки и заново посвятила себя дочери. Однако ничего не помогало.

Я настоятельно рекомендовал семейную терапию, но дочь отказывалась. И вот Роуз достигла критической точки: каждый приступ кашля и каждый визит к пульмонологу напоминали, что ее дни сочтены. Она жаждала только облегчения. «Я хочу, чтобы она уехала», – твердила она мне.

Роуз считала дни до того момента, когда ее дочь окончит школу и уедет из дома: в колледж, на работу – куда угодно. Ее уже не волновало, какой путь выберет дочь. Снова и снова она шептала себе и мне: «Я хочу, чтобы она уехала».

В своей практике я делаю все возможное, чтобы объединять семьи, исцелять разлад между братьями и сестрами, детьми и родителями. Но работа с Роуз изнурила меня, и я утратил всякую надежду на восстановление мира в этой семье. Во время последних сеансов я пытался представить для Роуз ее будущее, если она разорвет отношения с дочерью. Разве не будет она чувствовать себя виноватой и одинокой? Но все было напрасно, а теперь время истекало: я знал, что жить Роуз осталось недолго.

Направив ее дочь к одному превосходному терапевту, я теперь занимался только самой Роуз и был целиком на ее стороне. Не раз она говорила мне: «Еще три месяца до того, как она окончит школу. А потом ее не будет. Я хочу, чтобы она уехала. Я хочу, чтобы она уехала». Я надеялся, что Роуз дождется исполнения своего желания.

Вечером того же дня, садясь на велосипед, я про себя повторял слова Роуз – «Я хочу, чтобы она уехала. Я хочу, чтобы она уехала...». И вскоре мысли переключились на мою мать, и я увидел мир ее глазами – наверное, впервые в жизни. Я представлял, как она думает и говорит похожие вещи обо мне. И теперь, задумавшись об этом, не мог припомнить никаких терзаний с ее стороны, когда я – наконец-то и навсегда – уехал из дома в медицинскую школу в Бостоне.

Я вспоминал сцену прощания: мать на крыльце дома, машет вслед моему забитому вещами под самую крышу «Шевроле», а потом, когда он скрывается из виду, уходит в дом. Я представлял, как она закрывает входную дверь и глубоко вздыхает. Потом, пару-тройку минут спустя, расправляет плечи, широко улыбается и приглашает отца сплясать с ней торжествующую «Хава нагилу».

Да, у моей матери была веская причина почувствовать облегчение, когда я в свои двадцать два года навсегда уехал из дома. Я был нарушителем спокойствия. У нее никогда не находилось для меня доброго слова, и я платил ей тем же.

Пока я спускаюсь на велосипеде по длинному склону холма, мои мысли уплывают обратно к тому дню, когда мне было четырнадцать, и мой отец, тогда сорокашестилетний, проснулся ночью от острой боли в груди. В те дни врачи приходили к своим пациентам на дом, и мать сразу позвонила нашему семейному врачу, доктору Манчестеру. Посреди ночи мы

втроем – отец, мать и я – в волнении и тревоге ожидали прибытия доктора. (Моя сестра Джин, которая была на семь лет старше меня, уже уехала учиться в колледж.)

Расстраиваясь, моя мать всякий раз скатывалась к примитивному мышлению: если случилось что-то плохое, значит, кто-то должен быть в этом виноват. И этим кем-то оказывался я. Не раз и не два в ту ночь, когда отец корчился от боли, она кричала мне: «Ты, это ты его убил!» Она давала мне понять, что мое непокорство, неуважение, бесконечные нарушения семейных правил – все это довело его.

Годы спустя, когда я, лежа на аналитической кушетке, описал происходившее той ночью, мой рассказ стал причиной редкой краткой вспышки нежности со стороны Олив Смит, моего ультраортодоксального психоаналитика. Она поцокала языком – *ц-ц-ц*, – наклонилась ко мне и проговорила: «Какой кошмар! Я полагаю, это было ужасно для вас!»

Она была суровым аналитиком и преподавателем в учебном заведении с суровыми традициями, где интерпретацию почитали единственным эффективным действием психоаналитика. Из всех ее вдумчивых, тяжеловесных, составленных из тщательно подобранных слов интерпретаций я не помню ни одной. Но единственный раз, когда она посочувствовала мне... этим я дорожу до сих пор, даже теперь, спустя почти шестьдесят лет.

«Ты убил его, ты убил его!» – по-прежнему раздается в моих ушах пронзительный голос матери. Я помню, как съеживался, парализованный страхом и яростью. Мне хотелось крикнуть в ответ: «Он же не умер! Заткнись, дура!» Она то и дело стирала пот с отцовского лба и целовала его в голову, а я сидел на полу, в углу, сжавшись в комок, пока, наконец, около трех часов ночи не услышал, как большой «Бьюик» доктора Манчестера зашуршал осенними листьями на улице. Я помчался вниз, прыгая через три ступеньки, чтобы открыть дверь.



Маленький Ирвин с матерью и сестрой

Доктор Манчестер мне очень нравился, и привычный вид его большого круглого улыбающегося лица рассеял мою панику. Он потрепал меня по голове, взъерошив волосы, успокоил мать, сделал отцу укол (вероятно, морфин), приставил к его груди стетоскоп и дал мне послушать, а сам сказал: «Вот видишь, сынок, оно тикает, сильно и размеренно, как часы. Не о чем беспокоиться. С ним все будет в порядке».

В ту ночь я видел, как отец приблизился к порогу смерти, прочувствовал, как никогда прежде, вулканическую ярость матери. И для самозащиты я принял решение навсегда закрыться от нее. Мне нужно было уносить ноги из этого семейства. Следующие два или три года я едва разговаривал с матерью – мы жили, как чужие люди под одной крышей.

А ярче всего мне вспоминается глубокое, всеохватывающее облегчение от прихода доктора Манчестера. Никто и никогда не делал мне такого подарка. Именно в тот момент я решил, что буду как он. Я стану врачом и смогу давать другим то утешение, которое он подарил мне.

Отец постепенно поправился. И хотя после того случая он испытывал боли в груди почти при любом физическом усилии, даже пройдя пешком один-единственный квартал, и тут же хватался за нитроглицерин, он все же прожил еще двадцать три года. Мой отец был мягким, великодушным человеком, и его единственным недостатком, по моему разумению, было отсутствие мужества противостоять моей матери.

Мои отношения с матерью всю жизнь были открытой раной, и все же, как ни парадоксально, именно *ее* образ мелькает в моих мыслях чуть ли не каждый день. Я вижу ее лицо; она никогда не бывает спокойной, никогда не улыбается, никогда не довольна. Она была умна и, хотя трудилась в поте лица всю жизнь, оставалась с ощущением своей полной нереализованности и редко говорила о чем-нибудь хорошем. Но сегодня, во время своей велосипедной прогулки, я думаю о матери по-другому: я думаю, как мало, должно быть, доставлял ей радости, когда мы жили вместе. Я благодарен судьбе за то, что в последующие годы сумел стать более добрым сыном.

Глава четвертая

Завершая круг

Время от времени я перечитываю Чарльза Диккенса, который всегда занимал центральное место в моем пантеоне писателей. Не так давно мой взгляд зацепила потрясающая фраза из «Повести о двух городах»: «Когда жизнь подходит к концу, ты словно завершаешь круг и все ближе подвигаешься к началу. Так высшее милосердие сглаживает и облегчает для нас конец нашего земного пути. Все чаще встают теперь передо мной воспоминания, которые, казалось, давным-давно были погребены».

Этот отрывок с необычайной силой берет меня за душу: ныне, действительно приближаясь к концу, я тоже обнаруживаю, что все ближе подвигаюсь к началу. Воспоминания клиентов часто пробуждают мои собственные воспоминания, работа над их будущим перекликается с моим прошлым и тревожит его, и я ловлю себя на пересмотре своей истории.

Мои воспоминания о раннем детстве всегда были отрывочными – как я всегда полагал, из-за безрадостности первых лет моей жизни и нищеты, в которой мы жили. Теперь же, когда мне перевалило за восемьдесят, в мои мысли вторгается все больше и больше образов из раннего детства. Пьяницы, спящие в нашей прихожей, заляпанной рвотой. Мое одиночество и изоляция. Тараканы и крысы. Красномордый парикмахер, называющий меня «еврейчиком». Таинственные, мучительные и неудовлетворенные сексуальные волнения в отрочестве. Лишний. Всегда лишний и неуместный – единственный белый ребенок в негритянском районе, единственный еврей в мире христиан.

Да, прошлое затягивает меня, и я понимаю, что означает слово «сглаживание». Теперь – чаще, чем когда-либо прежде, – я представляю, как покойные родители наблюдают за мной и как огромная гордость и радость согревают их при виде меня, выступающего перед толпой людей. До смерти отца я успел написать всего несколько статей – узкоспециальных статей в медицинских журналах, смысл которых был для него темен. Мать прожила на двадцать пять лет дольше, и хотя скверное знание английского, а потом и слепота не давали ей возможности читать мои книги, она держала их, сложенные стопкой, рядом со своим креслом в доме престарелых, и поглаживала их, и ахала-охала над ними перед своими гостями.

Как много незавершенного осталось между мной и родителями! Мы столько всего не обсудили о нашей совместной жизни, о напряженности и неудовлетворенности в нашей семье, о моем мире и их мире. Когда я думаю об их жизни, представляя, как они прибывают на остров Эллис – без гроша за душой, без образования, не зная ни слова по-английски, – на мои глаза наворачиваются слезы. Мне хочется сказать им: «Я знаю, через что вы прошли. Я знаю, как это было тяжело. Я знаю, что вы сделали для меня. Пожалуйста, простите меня за то, что я так стыдился вас».

Оглядываясь на прожитую жизнь с высоты моих «за восемьдесят» страшно, а порой и одиноко. Я не могу полагаться на свою память, а живых свидетелей начала моей жизни осталось раз, два и обчелся. Сестра, которая была на семь лет старше меня, совсем недавно умерла, большинства моих старых друзей и знакомых тоже уже не стало.

Когда мне исполнилось восемьдесят, из прошлого неожиданно донеслось несколько голов, пробудивших воспоминания. Первой была Урсула Томкинс, которая нашла меня через мой сайт в Интернете. Я не вспоминал о ней с тех пор, как мы вместе учились в Вашингтонской начальной школе Гейджа. Вот ее письмо: «Поздравляю с восьмидесятилетием, Ирвин! Я прочла две твои книги, которые мне очень понравились, и попросила работников нашей библиотеки в Атланте достать для меня остальные. Я помню тебя с четвертого класса, когда

мы учились у мисс Фернальд. Не знаю, помнишь ли ты меня... Я была такой пампушечкой с рыжими кудряшками, а ты был красивым мальчиком с угольно-черными волосами!»

Значит, Урсула, которую я прекрасно помнил, считала меня красивым мальчиком с угольно-черными волосами? Меня? Красивым? Если б я только знал! Никогда, ни на миг я не думал о себе как о красивом мальчике. Я был стеснительным, чудаковатым, мне не доставало уверенности, и я помыслить не мог, что кто-то сочтет меня привлекательным. Ах, Урсула, благослови тебя Боже за то, что назвала меня красивым. Но почему, о, почему ты не сказала этого раньше?! Это могло бы изменить все мое детство!



Отец и мать автора, ок. 1930 г.

А потом, два года назад, привет из далекого прошлого принес мой автоответчик – это было сообщение, которое начиналось так: «ЭТО ДЖЕРРИ, твой старый приятель-шахматист!» Хотя я не слышал этого голоса семьдесят лет, я узнал его сразу же. Это был Джерри Фридендер, чей отец владел продуктовым магазином на пересечении улиц Ситон и Норт-Кэпитол, всего в одном квартале от магазина моего отца.

В сообщении Джерри поведал мне, что его внучка, которая учится на клинического психолога, читает одну из моих книг. Он напомнил, как мы с ним на протяжении двух лет регулярно играли в шахматы, когда мне было двенадцать, а ему четырнадцать, – в то самое время, которое мне вспоминалось исключительно как голая пустошь неуверенности и сомнений в себе. Поскольку мои воспоминания о тех годах чрезвычайно скудны, я тут же ухватился за возможность получить обратную связь и стал выпрашивать у Джерри любые впечатления, которые остались у него от меня (разумеется, вначале поделившись с ним своими впечатлениями о нем).

– Ты был славным парнем, – ответил Джерри. – Очень спокойным. Помнится, за все время, проведенное вместе, мы с тобой ни разу не поссорились.

– Еще! – с жадностью потребовал я. – Те времена для меня как в тумане.

– Ты порой валял дурака, – продолжил он, – но по большей части был серьезным и прилежным парнишкой. На самом деле, я бы сказал – *очень* прилежным. Когда бы я ни пришел к тебе, ты сидел, зарывшись носом в книжку. О да, это я очень хорошо помню – Ирв и его книги! И ты всегда читал ученые труды и хорошую литературу – намного выше моего понимания. Всякие комиксы для тебя не существовали.

Это было правдой лишь отчасти – на самом-то деле я был ярым поклонником Капитана Марвела, Бэтмена и Зеленого Шершня (но не Супермена: неуязвимость лишала его приключения всякой интриги). Слова Джерри напомнили мне, что в те годы я часто покупал букинистические издания в книжном магазине на Седьмой улице, всего в квартале от библиотеки.

Пока я предавался воспоминаниям, образ огромной, цвета ржавчины, загадочной книги по астрономии всплыл в моем сознании. Большая часть затронутых в ней тем была для меня темным лесом – эта книга отлично служила другой цели: я оставлял ее на виду для симпатичных подружек моей сестры, в надежде вызвать у них восторг своей одаренностью. Они гладили меня по голове, иногда даже обнимали или целовали – и это было очень приятно. Мне и в голову не приходило, что Джерри тоже обратил внимание на эту книгу – и стал нечаянной жертвой моих коварных замыслов.

Джерри рассказал мне, что я, как правило, побеждал в наших шахматных баталиях, но проигрывать красиво не умел: под конец одной надолго затянувшейся партии, когда он выиграл в непростом эндшпиле, я надулся и стал настаивать, чтобы он сыграл с моим отцом. И Джерри сыграл. Он пришел ко мне домой в следующее воскресенье и обыграл отца тоже, хотя был уверен, что папа ему просто поддался.

Этот рассказ ошарашил меня. У меня были хорошие, пусть и не самые близкие, отношения с отцом, но я даже представить себе не мог, что стал бы ждать от него отмщения за мой проигрыш. Он действительно научил меня играть в шахматы, но, если верить моим воспоминаниям, к одиннадцати годам я всегда у него выигрывал и предпочитал более сильных противников, особенно его брата, моего дядю Эйба.

Лишь одно разочаровывало меня в отце, хоть я и не высказывал недовольства вслух: он никогда ни словом не возражал матери. За все годы, когда мать принижала и критиковала меня, отец ни разу не воспротивился этому. Он ни разу не принял мою сторону. Меня расстраивала его пассивность, его немужественность. Поэтому рассказ старого приятеля озадачил меня: как я мог обратиться к отцу с просьбой отыгаться за меня с Джерри? Наверное, память меня подводит. Наверное, я гордился им больше, чем мне казалось.

Это предположение еще больше укрепилось, когда Джерри принялся описывать собственную жизненную одиссею. Его отец не был успешным дельцом, и неудачи в бизнесе трижды вынуждали их семью переезжать, всякий раз с ухудшением условий, в менее комфортабельные квартиры. Более того, Джерри приходилось работать после школьных занятий и в летние каникулы. Я осознал, что мне повезло куда больше: хотя я часто работал в отцовском магазине, это никогда не было для меня обязанностью, лишь удовольствием – я чувствовал себя взрослым, обслуживая посетителей, подбивая итоговые счета, принимая деньги и отсчитывая сдачу.

К тому же Джерри работал в летние каникулы, а меня родители посылали в двухмесячные летние лагеря. Я воспринимал свои привилегии как должное, но разговор с Джерри показал, что мой отец многое делал правильно. Очевидно, он был трудолюбивым, разумным бизнесменом. Именно его (и моей матери тоже) усердный труд и деловое чутье облегчили мою жизнь и дали возможность получить образование.

После общения с Джерри стали потихоньку всплывать другие забытые воспоминания об отце. Однажды, дождливым вечером, когда в магазине было полно покупателей, здоровенный, угрожающего вида мужчина схватил ящик спиртного и выбежал на улицу. Мой отец, ни секунды не колеблясь, погнался за ним, оставив нас с матерью одних в магазине, наводненном покупателями. Четверть часа спустя он вернулся, неся похищенный ящик: через пару-тройку кварталов вор притомился, бросил добычу и был таков.

Со стороны отца это был храбрый поступок. Я не уверен, что у меня хватило бы духу на такую погоню. Я *должен был* гордиться отцом – как могло быть иначе? Но, как ни странно, я не позволял себе помнить об этом. Я вообще когда-либо пытался по-настоящему понять, какой была его жизнь?..

Я знаю, что отец начинал работать в пять утра, закупая продукты на юго-восточном оптовом рынке Вашингтона, и закрывал магазин в десять вечера по будням и в полночь по пятницам и субботам. Единственным его выходным было воскресенье. Я порой сопровождал его на продуктовый рынок, и это была тяжелая, изматывающая работа. Однако я ни разу не слышал от него жалоб.

Помню, как разговаривал с человеком, которого я называл «дядей Сэмом». Это был лучший друг моего отца еще с детства, которое они вместе провели в России (я называл дядями и тетями всех взрослых, одновременно с моими родителями эмигрировавших из Сельца⁴, еврейского местечка в России). Сэм рассказал мне, что в те времена мой отец часами просиживал на крохотном неотапливаемом чердаке в своем доме и писал стихи.

⁴ Предположительно, это село на территории Белоруссии, неподалеку от города Пружаны, где родилась мать автора. С 1921 года Селец входил в состав Польши, с 1939 – в состав Белоруссии. – *Прим. науч. ред.*



Отец Ялома в своем продуктовом магазине, ок. 1930 г.

Но отцовским поэтическим устремлениям пришел конец, когда его еще подростком призвали в российскую армию во время Первой мировой войны и отправили на строительство железнодорожных путей. После войны он с помощью старшего брата, Мейера, перебрался в Соединенные Штаты. Мейер эмигрировал раньше и открыл маленький продуктовый магазинчик на улице Вольта в Джорджтауне. За ним последовали сестра Ханна и младший брат Эйб.

Эйб приехал один в 1937 году и планировал отослать деньги на переезд своей семье, но опоздал: нацисты убили всех оставшихся, включая старшую сестру моего отца с двумя детьми, жену Эйба и четверых их детей. Но обо всем этом мой отец хранил гробовое молчание; ни разу он не заговорил со мной ни о Холокосте, ни о чем-либо другом, связанном с его прежней родиной.

Его стихи тоже остались в прошлом. Я никогда не видел, чтобы он писал. Я никогда не видел его за книгой. Я никогда не видел, чтобы он читал хоть что-нибудь, кроме ежедневной еврейской газеты, которую он хватал в руки сразу, как только ее доставляли, и бегло просматривал. Только теперь я понимаю, что он искал в ней хоть какие-нибудь сведения о родственниках и друзьях.

О Холокосте он упомянул лишь один раз. Когда мне было почти двадцать лет, мы с ним отправились вместе обедать – вдвоем. Это был редчайший случай: хоть отец и продал к тому времени свой магазин, его по-прежнему трудно было выманить куда-то без матери. Он никогда не начинал разговор сам, никогда задавал мне вопросов. Может быть, он неуютно чувствовал себя со мной, хотя вовсе не страдал застенчивостью или замкнутостью в своей мужской компании – я с удовольствием смотрел, как он смеется вместе с друзьями и рассказывает анекдоты во время игры в пинокль⁵.

⁵ Популярная в Америке карточная игра. – Прим. перев.

Наверно, можно сказать, что мы оба подвели друг друга: отец никогда не расспрашивал о моей жизни или работе, а я никогда не говорил ему, что люблю его. Мы проговорили с ним – серьезно, как взрослые люди – около часа, и это было замечательно. Помню, как спросил его, верит ли он в Бога, и он ответил: «Как можно верить в Бога после Шоа?»⁶



⁶ Бедствие, катастрофа (иврит) – так евреи называют Холокост. – *Прим. перев.*

Ирвин с отцом, ок. 1936 г.

Я знаю, что сейчас – потому что лучше поздно, чем никогда, – пришло время простить его за молчание, за то, что он был иммигрантом, за недостаток образованности и невнимание к повседневным горестям, с которыми сталкивался его единственный сын. Пора положить конец моему стыду за его невежество. Пора вспомнить его красивое лицо, мягкость, вежливые беседы с друзьями; его мелодичный голос, поющий песни на идише, которые он выучил в детстве, проведенном в еврейском местечке; его смех, когда он играл в пинокль с братом и друзьями; вспомнить, как изящно он плавал в волнах у пляжа Бэй-Ридж; как нежно любил свою сестру Ханну, мою обожаемую тетю.

Глава пятая

Библиотека от А до Я

Много-много лет, вплоть до выхода на пенсию, я курсировал на велосипеде между своим домом и Стэнфордом, не раз останавливаясь по дороге, чтобы полюбоваться роденовскими «Гражданами Кале» или сверкающими мозаиками на часовне, возвышающейся над Квадратом⁷, или порыться на полках книжного магазина в кампусе. Даже выйдя на пенсию, я продолжал ездить по Пало-Альто на велосипеде, то по делам, то навещая друзей. Но в последнее время я утратил доверие к своей способности держать равновесие, поэтому избегаю езды по дорогам в потоке транспорта и ограничиваюсь тридцати-сорокаминутными прогулками на закате по специальным велосипедным тропинкам.

Хотя мои маршруты изменились, езда на велосипеде по-прежнему дарит мне ощущение свободы и способствует погружению в размышления. И в последнее время ощущения плавного, быстрого движения и ветерка, овевающего лицо, неизменно уносят меня в прошлое.

Если не считать страстного десятилетнего романа с мотоциклами, завершившегося, когда мне еще не было сорока, я оставался верен велосипеду с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Тогда, после долгой и трудной кампании упрашиваний и уговоров, родители сдались и купили мне на день рождения ярко-красный «Америкэн Флаер».

⁷ Главный комплекс зданий Стэнфордского университета. – *Прим. перев.*



Ялом в возрасте 10 лет

Настойчивости в просьбах мне было не занимать, и уже в раннем детстве я открыл супер-эффективный метод, который никогда не давал осечек: надо было просто создать связь между желанным для меня объектом и образованием. Мои родители обычно жалели денег на легкомысленную ерунду, но когда речь шла о чем-то, хотя бы отдаленно связанном с образованием – о ручках, бумаге, логарифмических линейках (помните такие?) и книгах, *особенно* книгах, – щедрости им было не занимать. Поэтому, когда я сказал, что хочу пользоваться велосипедом, чтобы почаще бывать в огромной центральной библиотеке Вашингтона на углу улиц Седьмой и Кей, они не смогли мне отказать.

Я соблюдал свою часть договора: каждую субботу неукоснительно заполнял дерматиновые седельные сумки велосипеда шестью книгами (таков был библиотечный лимит), которые успел «проглотить» с прошлой субботы, и отбывал в сорокаминутный путь за новыми.

Библиотека стала моим вторым домом, и по субботам я пропадал в ней часами. Эти долгие послеполуденные часы служили двойной цели: библиотека связывала меня с большим миром, к которому я всей душой стремился, – миром истории, культуры и идей. И в то же время утихомиривала тревоги родителей и дарила им радость от мысли, что они произвели на свет ученого.

Кроме того, с их точки зрения, чем больше времени я проводил за чтением в четырех стенах, тем лучше: наш район считался – и был – опасным. Отцовский магазин и наша квартира на втором этаже располагались в бедняцком районе расово сегрегированного Вашингтона, в нескольких кварталах от границы белого района. На улицах кипело насилие, воровство, расовые стычки и пьянство (значительную часть «топлива» для которого и поставлял магазин моего отца). Родителям хватало мудрости на время летних каникул отсылать меня, начиная с семилетнего возраста, в летние лагеря в Мэриленде, Вирджинии, Пенсильвании или Нью-Гэмпшире, тем самым держа подальше от небезопасных улиц и одновременно освобождаясь от забот (за немалые деньги).

Гигантский холл на первом этаже библиотеки вызывал у меня такое благоговение, что я осмеливался ходить по нему только на цыпочках. В самом центре первого этажа стоял массивный книжный шкаф, в котором выстроились биографии – в алфавитном порядке согласно тематике. Много раз обойдя его по кругу, я набрался храбрости обратиться к чопорной библиотечкарше за указаниями. Не говоря ни слова, та жестом велела мне вести себя тихо, прижав палец к губам, и указала на огромную мраморную винтовую лестницу, ведущую в отдел детской литературы на втором этаже, где мне, по ее мнению, было самое место.

Расстроенный, я послушался, но все же при каждом посещении библиотеки продолжал поедать глазами шкаф с биографиями и в какой-то момент разработал план: я буду читать по одной биографии в неделю, начиная с первого человека, чья фамилия начинается с буквы А, и двигаться дальше по алфавиту.

Я начал с Генри Армстронга, чемпиона 1930-х годов по боксу в легком весе. Из буквы *Б* мне запал в память Хуан Бельмонте, талантливый матадор начала XIX века, и Фрэнсис Бэкон, ученый эпохи Возрождения. На *К* был Тай Кобб⁸, на *Э* – Томас Эдисон, *Г* запомнилась Лу Гериг⁹ и Гетти Грин («ведьмой с Уолл-стрит») и так далее. Под буквой *Д* я обнаружил Эдварда Дженнера, который стал моим кумиром за то, что изничтожил оспу. В букве *Ч* я встретился с Чингисханом и не одну неделю пытался прикинуть: Дженнер спас больше жизней – или Чингисхан уничтожил? Буква *К* приютила также Поля де Крюи с его «Охотниками на микробов», вдохновившими меня прочесть множество книг о микроскопическом мире; в следующем году я работал по выходным продавцом лимонада в «Народной аптеке» и накопил достаточную сумму, чтобы купить полированный медный микроскоп, с которым не расстаюсь и по сей день. Благодаря букве *Н* я познакомился с трубачом Редом Николсом, а также со странным чудачком по имени Фридрих Ницше. *П* привела меня к св. Павлу и Сэму Пэтчу, первому человеку, которому удалось спуститься по Ниагарскому водопаду и остаться в живых.

Помнится, я завершил свой биографический проект на букве *Т*, под которой обнаружил Альберта Пейсона Терхьюна. В последующие недели я отклонился от основного курса, поглощая его многочисленные книги о таких выдающихся колли, как Лэд и Лесси¹⁰. Сегодня я понимаю, что мне ничуть не повредил этот бессистемный подход к чтению, ничуть не повредило

⁸ Профессиональный бейсболист. – Прим. перев.

⁹ Еще один профессиональный игрок в бейсбол. – Прим. перев.

¹⁰ На самом деле «Лесси» написал другой автор – Эрик Найт. – Прим. перев.

то, что я был единственным десяти- или одиннадцатилетним ребенком на свете, который знал так много о Гетти Грин или Сэме Пэгче. Но все же сколько времени было потрачено зря! Мне отчаянно нужен был какой-то взрослый, классический американский наставник, кто-то похожий на человека в полотняном костюме в полоску, который вошел бы в продуктовый магазин моего отца и объявил, что я – многообещающий парнишка.

Теперь, когда я оглядываюсь назад, меня охватывают щемящая нежность к этому одинокому, напуганному, решительному мальчишке – и благоговение перед ним, каким-то образом пробившим себе дорогу путем самообразования, пусть и беспорядочного, не видевшим ни поощрения, ни жизненных примеров, ни руководства.

Глава шестая

Религиозная война

Сестру Мириам, католическую монахиню, направил ко мне ее исповедник, брат Альфред. Много лет назад он сам был моим клиентом, проходя терапию после смерти своего отца-тирана. Брат Альфред написал мне записку:

Дорогой доктор Ялом (простите, но я по-прежнему не могу называть вас Ирвом – для этого потребовался бы еще год терапии, а то и два)! Надеюсь, что вы сможете принять сестру Мириам. Она – любящая, щедрая душа, но сталкивается с множеством препятствий на пути к безмятежности.

Сестра Мириам оказалась привлекательной, приятной в общении, но несколько приунывшей женщиной средних лет, в одежде которой не было ни единого намека на ее жизненное призвание. Открытая и прямолинейная, она перешла к своим проблемам быстро и без смущения. Всю свою церковную карьеру она получала немалое удовлетворение от благотворительной работы с бедняками, но благодаря остроте ума и способностям к руководству ее назначали на все более и более высокие административные посты в ордене. Хотя она показала себя весьма эффективно и на этих должностях, качество ее жизни ухудшилось. У нее оставалось мало времени на собственные молитвы и медитации, и теперь ей почти ежедневно приходилось конфликтовать с другими администраторами, добивавшимися большей власти. Из-за ярости, которую они вызывали в ней, она чувствовала себя запятнанной.

Сестра Мириам понравилась мне с самого начала. Мы встречались еженедельно, и мое уважение к ней росло и росло. Эта женщина в большей степени, чем любой из знакомых мне людей, посвятила свою жизнь служению. Я решил сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей.

Сестра Мириам была женщиной выдающегося ума и необыкновенной преданности. Она ни разу не спросила о моих религиозных убеждениях и после нескольких месяцев терапии прониклась ко мне достаточным доверием, чтобы принести на сеанс свой личный дневник и зачитать вслух несколько абзацев. Она признавалась в своем глубоком одиночестве, ощущении собственной неуклюжести и зависти к другим сестрам, которым Бог даровал красоту и изящество. Читая о своих сожалениях обо всем, от чего она отказалась – брак, сексуальная жизнь, материнство, – сестра Мириам разрыдалась. У меня пронеслась мысль о драгоценных узлах, связывающих меня с женой и детьми; я ощущал боль сестры Мириам и глубоко сочувствовал ей.

Она быстро взяла себя в руки и вознесла благодарность за присутствие Иисуса в ее жизни. Она с ностальгической грустью говорила о своих ежеутренних беседах с ним, которые дарили ей силы и утешение с тех пор, как она подростком пришла в монастырь. В последнее время многочисленные административные обязанности сделали эти утренние медитации слишком редким благом, и ей очень их не хватало. Мне хотелось позаботиться о сестре Мириам, я был полон решимости помочь ей восстановить утреннее общение с Иисусом.

Однажды после очередного нашего сеанса, двигаясь по дорожке на велосипеде, я осознал, как жестко заглушал собственный религиозный скептицизм во время бесед с сестрой Мириам. Никогда прежде я не сталкивался с такой жертвенностью и преданностью. Хотя я тоже почитал свои занятия психотерапией как служение моим пациентам, мне было ясно, что мое даяние несравнимо с тем, как отдает всю себя сестра Мириам; я служил другим по собственному расписанию и получал за это плату. Как ей удалось воспитать в себе такое бескорыстие?

Я задумался о первых годах ее жизни, о начале ее личностного развития. Родители сестры Мириам бедствовали после того, как авария в угольной шахте сделала ее отца инвалидом. Они

отправили дочь в монастырскую школу в возрасте четырнадцати лет и почти не навещали. Ее жизнь с этого момента и далее была подчинена молитвам, тщательному изучению Библии и катехизиса – утром, днем и вечером. Драгоценные минуты для игр, веселья или общения выдавались редко, и, разумеется, ни о каких контактах с мужчинами не было и речи.

После наших с сестрой Мириам сеансов я нередко размышлял о том, как рухнуло мое собственное религиозное образование. В мое время юноши-евреи в Вашингтоне воспитывались в доктринерском, свойственном Старому Свету духе, который мне сегодняшнему кажется чуть ли не специально придуманным, чтобы отвратить нас от религиозной жизни. Насколько мне известно, ни один из моих сверстников не сохранил никаких религиозных чувств.

Мои родители были этническими евреями – они говорили на идише, скрупулезно соблюдали правила кашрута, держали четырнадцать наборов столовой посуды в кухне (для молочных и мясных блюд в течение всего года плюс специальные наборы для Пасхи), соблюдали Великие праздники (Рош ха-Шана и Йом-Кипур) и были пламенными сионистами. Они, их родственники и друзья образовали тесный кружок и почти никогда не заводили дружбы с неевреями и даже не пытались слиться с остальной Америкой.

Однако, несмотря на их сильную еврейскую идентичность, я почти не видел проявлений подлинного интереса к религии. Если не считать обязательного посещения синагоги по Великим праздникам, поста на Йом-Кипур и отказа от дрожжевого хлеба во время Пасхи, никто из них не воспринимал религию всерьез. Никто не соблюдал ритуала ежедневной молитвы, не возлагал тфилин¹¹, не читал Библию и не зажигал свечей в шаббат.

Большинство этих семей вели мелкий бизнес, держа в основном бакалейные или винные лавочки или гастрономы, которые закрывались лишь по воскресеньям и в Рождество, Новый год и главные еврейские праздники. В моем сознании ярко отпечаталась сцена в синагоге на один из Великих праздников: все мужчины – друзья и родственники моего отца – сидели рядом на первом этаже, а женщины, включая мою сестру и мать, – на втором. Помню, как я сидел рядом с отцом и играл бахромой его бело-голубой накидки. Я вдыхал запах шариков от моли, исходивший от редко надеваемого костюма для Великих праздников, прислонясь к его плечу. А отец указывал мне слова на иврите, которые читал кантор или раввин.

Поскольку для меня они были набором бессмысленных слогов, я старательно вглядывался в английский перевод, напечатанный на соседней странице. Он изобилует описаниями яростных битв и чудес и утомительно бесконечными прославлениями Бога. Ни одна строка этих текстов никак не соотносилась с моей собственной жизнью. Отсидев приличествующее время рядом с отцом, я пулей вылетал на улицу, в маленький дворик, где собирались все дети, чтобы поболтать, поиграть и пококетничать между собой.

Вот и все мое религиозное воспитание в детстве. Для меня так и осталось загадкой, почему мои родители никогда, ни единого разу, не учили меня читать на иврите и не рассказывали о еврейских религиозных доктринах.

Но когда приблизились мой тринадцатый день рождения и бар-мицва, положение изменилось, и меня послали в воскресную религиозную школу. Там я был нетипично для себя буен на занятиях и постоянно задавал непочтительные вопросы, например: «Если Адам и Ева были первыми людьми, с кем тогда заключали браки их дети?» или «Если правило не употреблять в пищу молоко вместе с мясом было направлено на исключение мерзости варить телянку в молоке матери его, тогда, равви, почему мы должны распространять это правило на кур? В конце концов, – надоедливо напоминал я всем, – куры молока не дают!» Дело кончилось тем, что раввин устал от меня и выгнал из школы.

Но это был еще не конец. От бар-мицвы ведь отделаться невозможно. Родители послали меня к частному наставнику – мистеру Дармштадту, обладателю прямой осанки, полного

¹¹ Элемент молитвенного облачения иудея. – Прим. перев.

достоинства и терпения. На бар-мицве главная задача, с которой сталкивается любой тринадцатилетний мальчик, – перед всей синагогой прочесть вслух на иврите *гафтару* (избранный отрывок из книги Пророков) для этой недели.

В моей работе с мистером Дармштадтом возникла серьезная проблема: я не мог (или не желал) учить иврит! Во всех прочих предметах я был прекрасным учеником, всегда первым в своем классе, но тут вдруг заделался полным тупицей: не мог запомнить ни букв, ни звуков, ни мелодики чтения. Наконец многотерпеливый мистер Дармштадт, вконец замучившись, сдался и сообщил моему отцу, что решить эту задачу невозможно: я никогда не выучу свою гафтару. Поэтому на моей церемонии бар-мицвы вместо меня гафтару читал мой дядя Эйб, брат отца. Раввин просил меня прочесть хотя бы пару строк благословения на иврите, но на репетиции стало очевидно, что я не могу выучить даже их. И на церемонии он, смирившись, держал передо мной карточки с подсказками, чтобы я прочел слова на иврите, записанные английскими буквами.

Должно быть, для моих родителей это стало днем великого позора. А как могло быть иначе? Но я не помню ничего, выдававшего их стыд, – ни одного образа, ни единого слова, которым обменялись бы со мной мать или отец. Надеюсь, их разочарование смягчила та превосходная речь (на английском), с которой их сын выступил на вечернем праздничном ужине.

В последнее время, пересматривая свою жизнь, я часто гадаю: почему мою гафтару прочел дядя, а не отец? Отца одолевал стыд? Жаль, я не могу задать ему этот вопрос. А что же моя работа с мистером Дармштадтом, длившаяся несколько месяцев? У меня почти что полная амнезия в отношении этих уроков. Зато я прекрасно помню свой ритуал – выходить из троллейбуса за одну остановку до его дома, чтобы перекусить гамбургером из киоска «Литл Таверн». Так называлась сеть уличных закусочных в Вашингтоне: у каждого киоска зеленая черепичная крыша, три бургера за двадцать пять центов. То, что эти бургеры были запретным плодом, делало их еще вкуснее: это был первый *трейф* (некошерный продукт), который я ел в своей жизни!

Если бы сегодня ко мне обратился за психологической помощью подросток вроде юного Ирвина, в самый разгар кризиса идентичности, и сказал мне, что не может выучить какие-то слова на иврите (хотя во всем прочем отличник), и что его исключили из религиозной школы (хотя в другое время у него не было серьезных проблем с поведением), и, более того, что он впервые отведал некошерной еды по пути к дому своего учителя иврита, тогда, полагаю, наша с ним консультация протекала бы примерно так.

Доктор Ялом: Ирвин, все, что ты рассказываешь о бар-мицве, заставляет меня задуматься, не восстаешь ли ты бессознательно против родителей и своей культуры. Ты говоришь, что ты отличник, всегда первый ученик в классе, – и все же в этот значительный момент, тот самый момент, когда ты вот-вот будешь готов занять свое место в мире как взрослый еврей, у тебя вдруг развивается псевдослабоумие и ты не можешь научиться читать слова на другом языке.

Ирвин: При всем моем уважении, доктор Ялом, я не согласен: это *более чем* объяснимо. То, что мне плохо даются языки, это факт. То, что я никогда не был способен выучить другой язык и сомневаюсь, что когда-нибудь выучу, это тоже факт. То, что я учусь в школе на одни пятерки по всем предметам, за исключением четверки по латыни и тройки по немецкому, это факт. И, кроме того, факт, что мне медведь на ухо наступил и я не способен спеть ни одну мелодию. Когда наш класс поет хором, учителя музыки настоятельно просят меня *не* петь, а только тихонько мычать. Всем моим друзьям это известно, и они знают, что я ни за что не смог бы пропеть строки гафтары или выучить другой язык.

Доктор Ялом: Но, Ирвин, позволь мне напомнить тебе: речь не шла о том, чтобы *выучить* другой язык. Наверное, меньше пяти процентов американских мальчиков-евреев понимают текст, который читают во время бар-мицвы. Твоя задача была *не в том*, чтобы заговорить на иврите, и *не в том*, чтобы понимать иврит; твоей единственной задачей было усвоить несколько звуков и прочесть вслух пару страниц. Неужели это настолько трудно? Это задача, с которой каждый год успешно справляются тысячи тринадцатилетних мальчиков. И позволь заметить, многие из них отнюдь не отличники, а хорошисты, троечники, а то и вовсе двоечники. Нет, повторяю я, это не случай острого очагового слабоумия: я уверен, существует объяснение получше. Расскажи мне подробнее о своих чувствах, связанных с еврейством, твоей семьей и культурой.

Ирвин: Я не знаю, с чего начать.

Доктор Ялом: Просто высказывай вслух свои мысли о том, что такое быть евреем в тринадцать лет. Отключи цензуру – просто произноси мысли вслух по мере того, как они возникают в твоём сознании. Психотерапевты называют это *свободными ассоциациями*.

Ирвин: Свободные ассоциации, ишь ты... Просто думать вслух? Ого! Ладно, попробую. Быть евреем... богоизбранный народ... по мне, так это просто шутка – *избранный*? Нет, совсем наоборот... На мой взгляд, в том, чтобы быть евреем, нет ни единого преимущества... Постоянные антисемитские замечания... Даже мистер Тернер, белобрысый красномордый цирюльник, чья парикмахерская всего в трех магазинах от лавки моего отца, называет меня «еврейчиком», когда стрижет... Анк, учитель физкультуры, вопит: «Шевелись, еврейчик!», когда я безуспешно пытаюсь взобраться по канату. А стыдобища в Рождество, когда другие дети в школе хвастаются своими подарками? Я был единственным еврейским ребенком в своем классе в начальной школе и поэтому регулярно лгал, что тоже получаю подарки. Я знаю, мои кузины, Беа и Айрин, рассказывают одноклассникам, что их подарки на Хануку – это рождественские подарки, но мои родители слишком заняты в магазине и никаких подарков в Хануку не дарят. И еще они косо смотрят на то, что у меня есть друзья-неевреи, и в особенности – темнокожие ребята, которых родители не разрешают приводить к нам домой, хотя я регулярно бываю у них в гостях.

Доктор Ялом: Итак, мне кажется очевидным, что ты больше всего на свете желаешь уйти из этой культуры, и твой отказ учить иврит для бар-мицвы, и то, что ты ешь *трейф* по дороге на уроки иврита, – все это говорит об одном и том же, и говорит громко: «Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь! Заберите меня отсюда!»

Ирвин: С этим трудно спорить. И мои родители, должно быть, чувствуют, что перед ними стоит ужасная дилемма. Они хотят для меня чего-то иного и лучшего. Они хотят, чтобы я добился успеха во внешнем мире, но в то же время боятся конца мира собственного.

Доктор Ялом: Они когда-нибудь говорили тебе об этом?

Ирвин: Не прямым текстом, но признаки этого есть. Например, они говорят на идише друг с другом, но не со мной и не с моей сестрой. С нами они разговаривают на такой смеси ломаного английского с идишем (мы называем ее «идглишем»), но явно не хотят, чтобы мы учили идиш. Кроме того, они не рассказывают о своей жизни на прежней родине. Я почти

ничего не знаю о том, как они жили в России. Когда я пытаюсь выяснить точное расположение их дома, мой отец, обладающий замечательным чувством юмора, шутит, что они жили в России, но иногда, когда им нестерпимо было думать об очередной суровой русской зиме, называли свою страну Польшей. А что насчет Второй мировой войны, нацистов и Холокоста? Ни словечка! Их уста навеки запечатаны. И тот же заговор молчания царит в семьях моих друзей-евреев.

Доктор Ялом: Как ты это объясняешь?

Ирвин: Наверное, они хотят избавить нас от ужасов. Я помню послевоенные выпуски новостей в кинотеатрах, где показывали лагеря и горы трупов, которые сгребали бульдозерами. Я был в шоке – я был совершенно не готов к такому и, боюсь, никогда не смогу забыть это зрелище.

Доктор Ялом: Ты знаешь, чего родители хотят для тебя?

Ирвин: Да – чтобы я получил образование и был американцем. Они мало знают об этом новом мире. Когда они прибыли в Соединенные Штаты, у них не было никакого официального образования – я имею в виду, никакого вообще... если не считать обязательных курсов для тех, кто хочет стать гражданами США. Как и большинство известных мне евреев, они – «люди книги», и я полагаю... нет, *знаю*, что они радуются всякий раз, видя меня за книгой. Они никогда не мешают мне, когда я читаю. Однако я не вижу у них никаких признаков желания просвещаться самим. Думаю, родители понимают, что эта возможность для них упущена – настолько они задавлены тяжким трудом. Каждый вечер они с ног валиятся от усталости. Должно быть, это вызывает у них смешанные чувства: они усердно трудятся, чтобы я мог получить такую роскошь, как образование, но при этом не могут не понимать, что каждая книга, каждая прочитанная мною страница уведут меня все дальше и дальше от них.

Доктор Ялом: Я все думаю о том, как ты ел эти гамбургеры из «Литл Таверн»... Это был первый шаг. Как звук рожка, возвещающий начало долгой кампании.

Ирвин: Да, я развязал долгую войну за независимость, и все ее первые стычки были вокруг еды. Еще до бар-мицвы я высмеивал ортодоксальные правила потребления пищи. Эти правила – просто анекдот какой-то: они бессмысленны и, более того, отсекают меня от остальных американцев. Когда я иду на бейсбольный матч «Вашингтон Сенаторз» (стадион «Гриффит» находится всего в паре кварталов от магазина моего отца), я, в отличие от друзей, не могу съесть хот-дог. Запрещены даже яичный салат или сэндвич с запеченным сыром, потому что, как объясняет мой отец, нож, которым режут сэндвич, мог использоваться для нарезки сэндвича с ветчиной. Тогда я возражаю: «А я попрошу, чтобы его не резали». «Нет! Подумай о тарелке, на которую могли класть ветчину, – говорят мне отец или мать. – *Трейф*, все это *трейф*». Можете представить себе, доктор Ялом, каково слышать это, когда тебе тринадцать? Безумие! Вселенная огромна – триллионы звезд, рождающихся и умирающих, природные катастрофы, случающиеся на земле каждую минуту, – а мои родители утверждают, что Богу больше нечем заняться, кроме как проверять ножи в закусочной на наличие молекул ветчины?!

Доктор Ялом: Ты серьезно? Ты действительно так мыслишь в столь юном возрасте?

Ирвин: Всегда! Я интересуюсь астрономией, я сам собрал телескоп, и всякий раз, когда я гляжу в небо, меня просто потрясает, насколько крохотны и незначительны мы в этом великом порядке вещей. Мне кажется очевидным, что древние пытались справиться с чувством собственной незначительности, изобретя какого-то бога, который считал нас, людей, столь важными птицами, что ему понадобилось уделять все свое внимание надзору за каждым нашим поступком. А еще мне кажется очевидным, что мы пытаемся смягчить сам факт смертности, изобретя небеса и другие фантазии со сказками, у которых есть одна общая тема – «мы не умираем», мы продолжаем существовать, переходя в иную реальность.

Доктор Ялом: У тебя действительно возникают такие мысли в твоем возрасте?

Ирвин: У меня они возникают столько, сколько я себя помню. Я держу их при себе. Но, говоря начистоту и строго между нами, я считаю религии и идеи о жизни после смерти самым затянувшимся мошенничеством в мире. Оно служит определенной цели – обеспечивает религиозным вождям комфортную жизнь и смягчает страх человечества перед смертью. Но какой ценой! Это делает нас инфантильными, мешает разглядеть естественный порядок вещей.

Доктор Ялом: Мошенничество? Какое резкое суждение! Почему ты так стремишься оскорбить несколько миллиардов людей?

Ирвин: Эй-эй, вы же сами просили меня свободно ассоциировать! Помните? Обычно я держу все это при себе.

Доктор Ялом: Совершенно верно. Я действительно просил тебя об этом, ты сделал, как я сказал, а теперь я тебя за это же шпыняю. Приношу свои извинения. И позволь спросить тебя о кое-чем еще. Ты говоришь о страхе смерти и жизни после смерти. Мне интересны твои личные переживания, связанные со смертью.

Ирвин: Первое воспоминание – смерть моей кошки. Мне тогда было лет десять. Мы всегда держали в магазине пару кошек, чтобы они ловили мышей и крыс, и я часто играл с ними. И вот одну из них, мою любимицу – забыл, как ее звали, – сбила машина. Я нашел ее у обочины; она еще дышала. Я побежал в магазин, добыл из ларя с мясом (мой отец был заодно и мясником) кусок печенки, отрезал маленький ломтик и поднес его прямо к мордочке кошки. Печенка была ее любимой едой. Но она не стала есть, и вскоре ее глаза закрылись навсегда. Знаете, мне стыдно, что я забыл ее имя и называю просто «кошкой», ведь мы вместе провели немало замечательных часов, когда она сидела у меня на коленях, громко мурлыча, а я поглаживал ее, читая книгу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.